## В горелом лесу

Светлана Ягупова

Был поздний вечер, мои уже улеглись. Я сидел на кухне, в круге настольной лампы, и просматривал методичку новой экскурсии по городу. Вой ветра, бьющегося о высотные дома, отвлекал, мысли то и дело возвращались к событию в «Горном», где я провел отпуск. Не было у меня весомых доказательств реальности случившегося, и я находился в положении богача без гроша в кармане. К сожалению, мы привыкли верить лишь тому, что можно пощупать или положить на язык. Мой сосед, слетавший по турпутевке в Индию, в более выигрышном положении, чем я: одни наклейки на чемодане впечатляют сильнее, чем пространные рассуждения о чем-то невещественном, подобном солнечному пятну на стене.

Я отложил методичку, вырвал из тетради двойной лист в клетку и начал составлять длинный список, не имеющий никакого отношения к завтрашней экскурсии. Одно за другим писал я имена тех, кто еще недавно ходил со мной по земле. Первыми в списке оказались:

Саша Осокина, однокурсница, 20 лет. Разбилась на мотоцикле.

Андрей Демьянов, друг, 37 лет. Перитонит.

Тетя Даша, сестра отца, 55 лет. Инсульт.

И так далее. Всего двадцать три человека.

Перечитал написанное, и на ум пришла программка с действующими лицами и исполнителями. В моем списке обе функции совмещались: каждый некогда был исполнителем собственной драмы.

В детстве нечто подобное я царапал на клочке бумаги для соседки бабы Фроси, и это казалось посланием кому-то неведомому, всемогущему. Баба Фрося прятала список в карман кацавейки, как называла она стеганую безрукавку, с которой не расставалась ни зимой, ни летом, и в поминальную субботу перед Троицей шла в церковь. Она не была верующей, просто издавна полагалось поминать за упокой.

Мне идти некуда, я и на Абдал езжу редко, потому что не ощущаю под памятниками тех, кого знал живыми, смеющимися. Обман там и пустота. Правда, теперь есть место за Горелым лесом, но до него отсюда около ста километров, ехать туда троллейбусом по горной трассе до Ялты, потом пересадка на автобус в сторону Мисхора, а через пятнадцать километров, свернув с шоссе влево, надо пройти пешком еще километра три. Но вряд ли я выберусь туда до следующего лета. И будет ли со мною Настя?..

Осторожно, чтобы не разбудить спящих, достал из книжного шкафа в коридоре мамин альбом с металлическим тиснением силуэта вокзальной башни на черном кожаном переплете и вернулся на кухню. Вместо фотографий — переложенный папиросной бумагой гербарий из роз, гвоздик, георгин, нарциссов, лилий. Под каждым цветком дата и имя того, с чьих похорон принесен цветок. Переворачиваю картонные листы. Мамин список гораздо длиннее моего, в моем не хватает нескольких маминых друзей и знакомых, которых я помню еще с детских лет. Дописываю. Хорошо, что Ирина спит, иначе не было бы отбоя от усмешливых расспросов — для нее этот альбом не что иное, как следствие старческого вывиха. Признаться, и я до сих пор считал мамин альбом сентиментальным заскоком, но сейчас несколько иначе пробегаю глазами аккуратно выведенные черной тушью имена и даты этого миниатюрного домашнего мемориала. Мама помнит. Но теперь помню и я.

Три дня назад я вернулся из санатория, и она чутко уловила во мне перемену, но не досаждает пустым любопытством, лишь чаще обычного со вздохом покачивает реденькими седеющими кудряшками. Когда-нибудь расскажу ей обо всем, а пока нужно переварить случившееся, не утратившее своей остроты, отчего до сих пор хо-лодок меж лопатками и горячий ком в горле.

В «Горном» меня прозвали Йогом Ивановичем. Сана-торцы еще только собираются на площадку перед корпусом, чтобы сонно и лениво поболтать руками-ногами, а я, отмахав босиком по утренней росе около трех километров, уже возвращаюсь с моря, где успел проделать на остывшем за ночь песке весь комплекс упражнений от бхастрики до шавасаны. Проходя мимо площади, ловлю насмешливые и сочувственные взгляды — вот, мол, бедный аскет... Между тем с помощью хатха-йоги я избавился от хронических бронхитов и пневмоний, и сейчас мое здоровье гораздо лучше, чем лет пять назад, не говоря уже о детстве. Боюсь, что скоро мне будут отказывать в путевке именно сюда, в этот санаторий, где хорошо отдыхается вдали от шумных пляжных лежбищ.

После обеда я обычно бодрым шагом дважды прохожу по терренкуру — хорошо протоптанной через лес километровке. Но сегодня меня и еще трех мужиков главврач задействовала на разгрузку машин с тумбочками, и после нечаянных трудов, вопреки своему режиму я завалился на кровать с непривычным ощущением физической усталости.

Что ж, йог так йог. Вовсе ахнули б, когда показал свое умение лежать на битых стеклах, бескровно протыкать иглой руку или бегать босиком по горячим углям. Впрочем, я уже переболел этими фокусами, и нет желания демонстрировать их даже своим застольницам Насте и Валентине, хотя восхищение девушек мне еще не безразлично.

Почти каждое лето я приезжаю сюда, в горы. Кого только не встретишь в этом санатории — от бывшего рецидивиста до литсотрудника газеты. Костники и легочники здесь не только отдыхают, но и лечатся, многие давно знают друг друга, есть старые компании, пары. Три года назад и у меня случился тут легкий блицроман, исчезнувший так же внезапно, как возник, оставив по себе лишь досадную неловкость.

Первые дни пребывания в санатории обычно наполнены долгими исповедальными беседами, сопалатники сбрасывают друг на друга грузы неурядиц, бед и обид, или с трогательным любованием и нежностью перебирают радостные события домашней жизни. Постепенно спадают всяческие маски, распрямляются складки житейской озабоченности, и вот уже не поймешь, кому сколько лет, кто женат, а кто холост, где начальник, а где исполнитель. Санаторец психологически возвращается в пору молодости, а то и юности, без обременительных обязанностей, моральных долгов, домашних хлопот. Речь не о банальных курортных флиртах, а о том, что человек, оказывается, постоянно открыт для новых впечатлений и возможностей. Дома он исправно ходит на службу, бегает с высунутым языком по магазинам, жэковским конторам и поликлиникам, посещает с женой и детьми театр и цирк — словом, ведет жизнь добропорядочного семьянина и работника. Ему и в голову не приходит, усевшись, скажем, в городском парке, заговаривать с прохожими, делать комплименты девушкам и допускать прочие вольности. Зато в санатории он расковывается полностью, иногда слишком. Сбрасывая на время сбруи, постромки супружества, превращается в человека беззаботного, а порою и безответственного. Да где еще и когда будет у него возможность часами напролет играть в бильярд или танцевать с незнакомой и потому вдвойне притягательной женщиной, до ломоты в суставах гонять мяч или с утра до ночи бродить по лесу. Вот он и накидывается на все это со внезапно пробудившейся молодой жадностью, и в чужих глазах, да и своих собственных, выглядит легкомысленным волокитой, азартным пройдохой, а то и кем-нибудь похлеще.

Скрипит балконная дверь, в палату вваливается Лёха.

— Твои курсировали перед корпусом туда-сюда, — сообщает он. — Повезло — сразу двух отхватил. — Пыхтя папиросой, Лёха поворачивает ко мне лицо, обрамленное инфантильной челкой. — А от меня, как от чумы шарахаются. И-эх, — досадливо крякает он, — крепче за шоферку держись, баран!

— Шел бы ты курить в туалет, — говорю я, и Лёха безропотно выполняет мою просьбу.

Когда я впервые увидел этого кругломордого увальня с якорями и стрелами на кистях, сразу понял, из каких не столь отдаленных мест он прибыл. Долгая изоляция выдавала прошлое Лёхи не только росписью татуировки, но и прошлась по его лицу тем особым следом, стереть который можно лишь новым образом жизни. Первым моим побуждением было просить лечащего врача перевести меня в другую палату. Но подсмотрел, как эта хрупкая женщина строго и волево обращается с экзотическим пациентом, устыдился своей трусости, да и любопытство взяло вверх: когда еще представится случай пообщаться с бывшим уголовником? Из своих тридцати пяти Лёха десять отсидел за воровство и хулиганство. При всей несимпатии к его судьбе мне по душе, что он лишен озлобленности, никого, кроме себя, не винит за свою жизнь-нескладуху. На свободе Леха четвертый месяц, а все не войдет в колею, вызывая своим поведением насмешки: в час врачебного обхода может усесться на стул в коридоре и, развернув меха потерханного баянчика, вопить во всю глотку что-нибудь из лагерного репертуара, на танцы почему-то не ходит, а с женщинами знакомится не иначе, как хватая их за руки, с просьбой залатать ему рубаху. От него, естественно, шарахаются, и он часами просиживает у корпуса в нелепой позе, на корточках, прислонившись спиной к стене и пряча от врачей в рукав папироску.

— Не заметил, куда мои пошли? — спрашиваю, когда Леха возвращается.

— Я же говорил, мотались туда-сюда перед корпусом, а потом дернули, кажется, в сторону поселка.

«Мои» — это Настя и Валентина. В столовой они появились одновременно, и если бы не сели за мой стол, возможно, мы не обратили бы друг на друга внимание. Впрочем, Настю я бы все равно заприметил — чем-то неуловимым она смахивает на Сашу Осокину. Спортивная акселератка, почти на голову выше Валентины, с мальчишеской стрижкой густых овсяных волос и нежным румянцем на скулах, она подвижна и полна энергии шестнадцатилетнего человека. Что особенно привлекает в ней, так это глаза, безудержно сияющие синим теплом. Их свет не затушевывается ни легким смущением, ни нарочитой раскованностью.

Валентине где-то за тридцать пять, но выглядит она значительно моложе и рядом с Настей смотрится чуть ли не ее подругой. Это тип женщины, от которой веет минувшим веком: хрупкая, со слегка размытыми, будто со старинного портрета, чертами лица и отблеском тайны в блестящем влажной чернотой взгляде.

Все это я отметил, как только мы оказались за одним столом. В тот же день я узнал, что Настя перешла в десятый. Мне доложили, что нормальные люди, мол, скоро пойдут в школу, она же будет лодырничать, а потом придется на третьей скорости догонять класс, а все потому, что зимой на нее набрасываются бронхиты, оттого и путевка аж на два месяца. Впрочем, она взяла кое-что из учебников и, если поразмыслить, очень даже неплохо посидеть над ними не в душном классе, а в лесу, и чтобы над головой цокали белки, стучали дятлы, и еще бы заблудиться однажды и повстречать оленя, которого она видела только по телеку да в кино, и ни разу на природе, чтобы в двух метрах от тебя осторожно выглядывал из-за кустов. Но самое главное, здесь можно славно порисовать.

Я мысленно оценил заботу родителей Насти о здоровье дочери, хотя не нашел в девочке и тени болезненности.

На следующий день мы встретились в столовой уже почти приятелями, и пока Валентина отлучилась на минуту к диетсестре, Настя с детской непосредственностью успела доложить, что ее подруга дважды была замужем, неудачно, и вот теперь у нее скептический взгляд на мужчин, поэтому я не должен обижаться, если она скажет в мой адрес что-нибудь колкое. Я усмехнулся, ибо не понял, почему должен отбивать рикошетом чьи-то грехи. Однако приготовился. Но ничего такого не произошло ни на другой день, ни в последующие. Валентина была вежлива, учтива, и, мнительный по натуре, я заподозрил Настю в лукавстве: уж не надумала ли она сдружить нас, уловив неприкаянность подруги? Вокруг бушевали страсти, и девчоночья душа, впечатлившись судорожной курортной хваткой куска нечаянного счастья, могла сделать несложный вывод, что и нам с Валентиной необходимо включиться в игру, иначе, как здесь говорят, при отъезде грустно обнаружишь, что «путевка сгорела».

Позже, наблюдая за Настей, я понял легковесную ошибочность своих выводов: девочка изначально не вписывалась в санаторскую свистопляску, я напрасно наделил ее задатками сводни, она была далека от этого. Сверстников ее в санатории было мало, да и Настю почему-то не тянуло к ним. Часами пропадала она в лесу с этюдником, а по вечерам, когда из окон клуба начинал громыхать магнитофон, зазывая на танцы, с книгой забиралась на кровать и читала до самого отбоя, отнюдь не учебник, а один из очередных библиотечных томов, которые она глотала по штуке в день, порой отказываясь даже от кино. Анатолий Ким, Шарлотта Бронте, Драйзер, Честертон, стихи Юнны Мориц и сборники фантастики — таков ее пестрый книжный аппетит.

В Насте еще много несложившегося, юного, но ничего от инфантильной старшеклассницы, поскольку сильно ощущается самостоятельность и, как сказала бы моя жена, самодостаточность. Будь она постарше, я, возможно, отважился бы поухаживать за нею.

В санатории нашу троицу приметили, и если встречали кого-нибудь поодиночке, подсказывали, где искать остальных. Не дождавшись меня на скамейке возле волейбольной площадки, мои застольницы, вероятно, двинули за арбузами в поселок, к нянечке Кате, о чем был договор за обедом и что вылетело у меня из головы из-за непредвиденной роли грузчика.

В конце недели я предложил девушкам пройтись на ялтинскую поляну, где Настя нашла бы интересный материал для акварелей. Одевшись по-походному, мы оказались с ней почти в одинаковых джинсах и светлых трикотажных теннисках. Валентина брюк не носила, и в цветастом платьице и пляжной панамке вовсе стала похожа на Настину ровесницу.

— Боюсь клещей, — призналась она.

Не в пример Валентине, Настя уже успела облазить окрестности санатория, и если бы я не потянул на поляну, наверняка вскоре добралась бы до нее самостоятельно. Длинноногая, быстрая, с этюдником, перекинутым на ремне через плечо, она постоянно убегала вперед, и было неясно, кто чей проводник. Валентина ходок похуже: при слишком резком наклоне тропы вверх у нее начиналась одышка, подошвы босоножек скользили о хвою, и я старался идти не спеша, то и дело окликая куда-то рвущуюся ее подругу. Профессионально поставленным голосом экскурсовода, используя методы локализации и реконструкции, я рассказывал о том, как этот уголок был когда-то облюбован императрицей

Екатериной, а позже окультурен русским терапевтом Боткиным, тем самым, по имени которого названа желтуха. Кое-что вспомнил из недавно услышанного от другого сопалатника, крымского татарина Османа — тот знал каждое дерево, каждую травку. Возле Стешиного ущелья поведал сентиментальную историю о крепостной девице, которая якобы сиганула со скалы от несчастной любви к барину.

— Глупо, не правда ли? — сделала неожиданный вывод Настя. (Я-то думал, что ей придется по душе романтическая любовь Стеши!) — Моя бабушка говорила: жизнь — это великий дар, и нельзя так швыряться им. У кого ее не бывает, несчастной любви? В седьмом классе у меня была. Кроме футбола и хоккея, мой предмет ничем не интересовался, и я тоже часами просиживала у телека, чтобы потом было о чем с ним говорить. Как-то призналась, что хочу стать психологом, а он спрашивает: «Психология — это что-то с мозгами связанное?» Когда же на дне рождения у одноклассника слопал тарелку первых огурцов, куда и любовь делась.

У нас с Валентиной первые огурцы вызвали улыбку, мы переглянулись, но внезапно я уловил в ее лице тень неприязни.

— Перевелись нынче мужики, — сказала Валентина и, будто застыдившись своей банальности, поспешно дополнила ее фактом, рассказанным таким тоном, будто она заведомо отделяла меня от принадлежности к мужской породе. — Нет, серьезно, мельчает мужик. Зато сколько ярких женских типов, характеров. Есть у нас в техникуме — я там преподаю литературу — историк Лида Тавровская. Двоих детей вырастила, в доме всегда пироги да разносолы, дети и муж обшиты, обвязаны, сама аккуратная, модненькая, хотя и скромно одета, и при всем этом заядлая театралка и знаток поэзии. Как-то забежала я к ней среди недели, а она меня к столу, фаршированным перцем угощает и наполеоном. Ну, говорю, Лида, твой Михаил должен тебе ручки целовать за то, что в будний день такими обедами его кормишь. И как в тебе уживаются кастрюли и стихи, театр и стирка, при твоей-то физической хрупкости? Вдруг вижу — лицо ее каменеет, губы кривятся. А я, говорит, железобетонная, всё выдюжу. И рассказала о похождениях Михаила, о том, что намерена кончать с этим. И как, по-вашему, кончила? Бросила все — благо дети уже выросли: сын в армии, дочь-студентка в Киеве — и ушла к преподавателю на двенадцать лет младше ее. Понимала, что не навсегда, а все равно решилась. Муж, конечно, в шоке был, на коленях вымаливал прощение. Не знаю, как дальше пойдет, а пока ходит Лида с молодым и чихает на пересуды. Мне бы так. Я не о муже, я о том, чтобы уметь, как Лида: одним крылом — по небу, другим — по земле. Да не получается — то в облаках летаю, то барахтаюсь в грязи.

Последняя фраза была сказана раздражительно, и, вспомнив Настино предостережение, я промолчал — не хотелось портить чудесную прогулку нелепым разговором в защиту мужчин. Давно заметил, что среди одиноких женщин часто встречаются если не мужененавистницы, то, мягко говоря, иронически воспринимающие нашего брата. Чего доброго, заговорит о матриархате и партеногенезе.

— Смотрите, какое дерево, — переключил я внимание спутниц.'

Ствол старой, полузасохшей сосны у основания раздваивался и, выгнутый художнической силой природы, описывал две дуги, образуя фигуру, похожую на древнегреческую лиру.

— Надо же! — восхитилась Настя. — Впрочем, у нас в Крыму фантазируют и деревья и горы.

Лес в этих местах разнообразен и неожиданен. Высоченные сосны внезапно сменяются шибляком — листопадным кустарником. Каменистые осыпи покрыты сумрачным ольшаником, переплетенным ломоносом, хмелем, ежевикой. Джунгли да и только. А то вдруг засветится ствол березки, а за ней потянутся граб и ясень, клен и осина, и все это по соседству с молодым дубнячком или храмом буковой рощи.

— А я уже была здесь, — неожиданно призналась Настя и, как бы спохватившись, что проговорилась, со смешком добавила: — Тут водятся дикие коровы и козы.

«Дикие» забредали из поселка, что находился в балке. Мальчишки часто разыскивали животных на мотороллерах, страшно грохоча и газуя на горных тропках так, что было слышно даже в санатории.

— Как же ты минула поляну? Она совсем рядом, — сказал я.

— Зато была за Горелым лесом! — В голосе девочки почудилось волнение. — Там текут удивительные речки. — Настя остановилась, присела и что-то подняла с земли. — Чье это? — подбежала к нам с развернутой ладонью: голубым огнем на ней горело маленькое перышко.

— Индийский скворец, — пошутил я.

— Скворец, да еще индийский! — Девочка осторожно опустила перышко в карман тенниски. — Как все необыкновенно здесь!

Мне не захотелось разочаровывать ее, что это перо обычной сойки, к тому же спохватился:

— О каких речках ты упомянула? Нет тут никаких речек.

— Проводник называется, — хмыкнула Настя, стрельнув в меня синим взглядом. — Может, и Горелого леса нет?

О том, что недавно опять был пожар в лесу, я слышал от Османа, но где именно, не знал. Пожары здесь случаются каждое лето, и главврач предупреждает, чтобы в лесу не курили, не жгли костров. Но откуда в этих скудных водою местах взяться речкам?

До поляны оставалось с полсотни метров, когда Настя круто свернула влево. Здесь и тропы-то не было., а ее несло куда-то через бурелом, по каменистому склону. Валентина еле поспевала за нами. Я протянул ей руку, помогая вскарабкаться наверх. Убежавшая было вперед Настя, вернулась и вручила нам два посоха из сломанных ветром буковых веток. Идти стало легче.

— Это же надо... одной... по таким тропам... — подавляя одышку, бормотала Валентина. — Наверняка здесь хулиганье шастает. Ну и Настя!

Мрачное зрелище разворачивалось перед нами. Около гектара обугленных и сваленных огнем деревьев, казалось, все еще корчатся в муке пламени. Горел и сухой лиственный настил, отчего землю покрывал слой серого пепла. Вероятно, пожар тушили с вертолетов, так как машинам сюда подступа нет. Ни птиц, ни цоканья белок. Тихо и мертво. Я представил, как свирепо бушевал здесь огонь, наводя ужас на лесную живность, как скрипели, трещали, рушились живые тела деревьев, и стало не по себе.

Еще не развеялся сильный запах гари, отчего у Валентины начался аллергический кашель и чих.

— Куда нас несет? — Она остановилась, тяжело дыша.

Настя умоляюще схватила ее за руку:

— Чуть-чуть, уже совсем рядом. — Губы ее подрагивали, и вся она была в плохо скрываемом волнении. Что могло так взбудоражить девчонку? Я разозлился на себя за то, что уступил ее прихоти, и она подметила это.

— Йог Иванович, — сказала Настя с ехидцей, — прогулка в эти места полезна вам не менее, чем закручивание себя узлом.

И тут мы услышали слабое журчанье.

— Они! — воскликнула Настя.

Пожарище кончилось, вновь весело зазеленели ольха, заросли терна, кизила, шиповника с ярко светящимися ягодами. Два узких прозрачных родника стекали с горного склона. Будто соревнуясь, кто кого обгонит, роднички дурашливо бежали по камушкам и суглинкам, ловко огибая деревья, и скрывались где-то в южной части Горелого леса. Еще в прошлом году я ходил сюда за шиповником и ничего подобного не видел. Не от пожара ведь, в самом деле, родились эти резвые струйки.

Настя была довольна моим удивлением.

— Думаете, это ручьи? Вовсе нет. Это реки. Ничего, что они такие маленькие, реки бывают разными. — Она сбросила на землю этюдник, облизнула пересохшие губы и, закрыв глаза, двинулась к одному из родников. Осторожно и шатко, с вытянутыми вперед руками, будто незрячая, прямо в кроссовках, шагнула в родник и, перейдя его, обернулась.

— Теперь я ничего не помню, — тихо, почти шепотом, сказала она, смотря куда-то поверх наших голов.

Не сразу я сообразил, что именно разыгрывается перед нами, и стал отчитывать ее за мокрые ноги, но она не обращала на меня внимания.

— Я перешла реку и все забыла: кто я, откуда родом, кто мои родные, друзья. — В голосе ее прозвучала нотка отчаяния, будто и впрямь с ней случилось такое несчастье. — У меня исчезла память! Но смотрите, — она вновь закрыла глаза и с едва заметной улыбкой на побледневшем лице перешла другой родник. — Теперь память вернулась ко мне! Я помню все-все! И как бабушка купала меня в белом эмалированном тазу, как вязала мне теплые варежки и называла Настенька-краса золотая коса.

Вот оно что — бабушка. Как я сразу не догадался... Ну конечно, какие это ручьи, это реки — Лета и Мнемозина. Тот, кто ступит в реку Лету, теряет память, вода Мнемозины возвращает ее. Валентина говорила, что полгода назад у Насти умерла бабушка, и девочка до сих пор переживает эту первую потерю.

— А когда мне было семь, бабушка привела в дом кота Нестора, а потом приютила бездомного пса Гаврика и все подружки завидовали мне.

Я зачерпнул ладонью из Мнемозины и охладил лицо. Попробовал воду на вкус. Она была холодноватой, с легкой горчинкой.

— Ну вот, теперь все вспомнится, — сказала Настя так убежденно, что я обернулся к Валентине — всерьез это или как?

— У Овидия в «Метаморфозах» есть пещера в Киммерийской земле, откуда вытекает родник забвения и царят вечные сумерки, а на ложе покоится Гипнос. — Валентина присела над родничком и смыла с босоножек пепельную пыль.

— Все ясно, — вступил в игру и я. — Лета притекла сюда из-под Коктебеля, а Мнемозина — откуда-то из Древней Греции.

Тогда и прозвучало Настино:

— А вы помните о тех, кого уже нет?

Будто вовсе не девочкой был задан вопрос — такая щемящая нота прозвенела в нем, — а по подсказке кого-то более мудрого, взрослого. Настя стояла, вытянувшись в струнку, и в ее синем взгляде плескалось столько печали и отважного вызова, что у меня перехватило дыхание.

Валентина подошла к ней, успокаивающе обняла. Как-то сразу обмякнув, девочка подняла этюдник и, перекинув через плечо ремень, поплелась за подругой.

К поляне пробирались молча, лишь Валентина поинтересовалась, нет ли поблизости можжевельника: «железобетонная» Лида просила веточку для засолки овощей по какому-то старинному рецепту. Можжевельник рос левее, но я решил уже никуда не сворачивать.

Низкорослый кустарниковый лес, с фигурно выгнутыми под горными ветрами деревьями, сменился лесом классически стройным. Начало сентября, а зелень еще ярка и устойчива, лишь кое-где в ветвях дуба или осины вспыхнет изжелта-пурпурный костерок, да незамечаемый летом слой прелой прошлогодней листвы, спрессованной с сосновыми иглами, напомнит о близости увяданья и холодов. Кажется, день иди, два, три и не будет конца этим галереям из вековых гигантов, упирающихся в небо. Но вот деревья раздвигаются, и шаг резко тормозится от удара по глазам синевы.

Небольшая поляна с выцветшими колосками лаванды, сухими головками татарника и зарослями ожин круто скатывается вниз, в пропасть, над которой широкой панорамой развернулись горные изломы. Покрытые справа редкой шерсткой лесов и вкрапленными в бока голых скал белыми игрушечными домиками, слева они мрачновато и торжественно зашториваются клубящимся туманом, будто скрывая какую-то грозную тайну. Два фрагмента пейзажа объединяет неправдоподобно синее небо, отбрасывающее голубой рефлекс на горы и город, упорно лезущий ввысь.

Тишина. Умиротворенность. Что с чем примирилось здесь?..

Картина внезапно открывшихся гор, повисших в сизоватой дымке, ошеломила моих спутниц. Я понял это по тому, как неподвижно стояли они, не отрывая глаз от неожиданного пейзажа. Затем Настя, точно сорвавшись с цепи, закружила по поляне, оглашая окрестность несуразными, ошалелыми воплями: «Э-ге-гей! Живем! Аявая! Уюю! Всегда!»

Эхо возвращало Настин восторг, и, казалось, кто-то поддакивает ей. Сняв кроссовки, она поставила их сушить и расположилась с этюдником на прогретом за полдня камне. Валентина присела на сваленное грозой дерево, я присоседился рядом.

— Хорошо, — выдохнула она.

— Хорошо, — подтвердила Настя, разворачивая этюдник. — Хорошо и нелепо.

— Почему нелепо? — не понял я.

— Да потому, что горы почти вечны, а человек нет.

Живет, страдает, радуется, а потом хлоп — и нет его. Как моей бабушки. А люди почему-то позволили себе привыкнуть к этому. Восемьдесят миллиардов смертей принесла Земля. Налево и направо падают от болезней, несчастных случаев, но никто не возмущается, не кричит: «Хватит!» Свыклись, смирились, думаем, что так и надо.

— На-а-стя! — удивленно протянул я. — Да ты философ. Но кто-то, между прочим, сказал, что мудрствующая женщина подобна считающей лошади.

— Ну и пусть, — на миг обернувшись, Настя улыбнулась глазами и вновь занялась рисунком, уверенными мазками что-то набрасывая на ватмане. — Секвойе природа отпустила пять тысяч лет, попугаю и черепахе по триста, а человеку... Не родная матушка она, иначе не сживала бы так быстро и легко со свету свое замечательное творение. Соперничества боится, что ли?

— Отчего же ты тогда ее рисуешь? — спросила Валентина, тоже немало удивленная Настиными речами.

Вступился за природу и я:

— Все-таки она прекрасна и гениальна, и доказательство ее великолепия перед тобой.

— Зачем же тогда свой порядок держит на взаимном истреблении? Можно подумать, вы не хотели бы жить вечно.

— Не хотели бы, — сказали мы с Валентиной почти одновременно. — Зачем?

— Да интересно же! — Настя искренне удивилась нашей тупости. — Сколько миров во вселенной, с разными временами и пространствами! Есть совсем не такие, как наш, со множеством измерений. Разве может наскучить все время узнавать новое?

— Бессмертие означало бы конец эволюции, — учительски строго сказала Валентина.

— Что за чепуха! — Настя рассмеялась. — Такое возможно, лишь в комедиях о мещанине, возмечтавшем увековечить свою гнусную суть. Все-все будет по-иному. Даже форма человека изменится.

— Не надо! — нарочито испугалась Валентина. — Не хочу расставаться ни с руками, ни с бедрами.

«Вроде они у нее есть, эти бедра», — ехидно подумал я.

— И на здоровье, никто ничего не отнимет, — продолжала Настя. — Ну разве не замечательно: сегодня быть женщиной, завтра — птицей или рыбой, побывать в форме дерева или звезды, чтобы потом вновь превратиться в человека.

— Счастливый возраст, — пробормотал я. — Мечты о бессмертии, метаморфозах, путешествиях в иные миры — безо всякой заботы о хлебе насущном или ценах на мебельные гарнитуры. — А про себя подумал: может, так и надо? Может, словами этой девочки говорит не затертый житейской прозой завтрашний день?

Послышались чьи-то голоса, и прямо на нас из лесу вышли двое. Это были мои знакомые по предыдущим годам отдыха в санатории — Галина и Андрей. Приехали они вчера вечером, утром мы уже виделись в столо-вой, и сейчас, перебросившись фразами насчет чудесной погоды, они ушли в сторону озера. После долгой разлуки им, вероятно, хотелось побыть наедине.

— Потрясающая пара, — сказала Валентина, когда они скрылись в низине. — Обратили внимание, сколько достоинства в лице, походке этой женщины? Английская королева, да и только!

Маленькая, непропорционально сложенная, с заметно выпирающей лопаткой, Галина изумляла многих и была притчей во языцех у санаторских кумушек всякий раз, когда ее видели с рослым, богатырского сложения Андреем. Вот уже которое лето они вместе. Ходили слухи, что Андрей не раз собирался бросить семью и уйти к Галине, но она якобы не позволяла ему этого. Признаться, я не очень верил болтовне, пока от самого Андрея не услыхал, что это и в самом деле так. Однажды я был свидетелем того, как наш рентгенолог, человек непосредственный и прямолинейный, сказал ему «Столько вокруг девок бесхозных, а ты выбрал...» Андрей промолчал, но так взглянул на него, что тот закашлялся и смущенно залепетал: «Ну чё ты, чё! Твое, конечно, дело. На мордашку она вроде бы ничё».

Для меня в их связи была какая-то тайна, и когда я видел, как Андрей бережно поддерживает Галину, и в самом деле казалось, что в неказистом теле этой женщины заточена королева, чье присутствие он постоянно и сильно ощущает, желая во что бы то ни стало высвободить ее из этого заточения. Не могу понять, какая сила придавала значимость каждому слову, взгляду, жесту Галины, движениям ее тщедушного тельца.

— Говорят, у нее есть сын, — сообщила Валентина.

Андрей рассказывал мне, какой ценой достался Галине ребенок. Дважды срывался плод, врачи категорически запретили ей рожать, но желание иметь ребенка было так велико, что, игнорируя запреты, Галина все же родила здорового мордастенького мальчишку.

Позже я не раз замечал, что Валентина прямо-таки впитывает каждое движение, каждую интонацию Галины, видимо, черпая в этом что-то важное для себя. Я догадывался, в чем дело: судьба Галины была вызовом житейскому стереотипу, который Валентине хотелось сломать, но почему-то не удавалось. По моему наблюдению, такие люди, как Галина, благотворны для окружающих. Они как бы подсказывают каждому: смотри, сколь многообразна жизнь, в любой ситуации и оболочке можно не ощущать себя несчастным.

Живя в относительно здоровой, нормальной среде, мы подчас не подозреваем о существовании другой среды, столь отличной от нашей, будто находится она на иной планете. Не раз сталкивался я с людьми, отягощенными физическими недостатками, и сделал вывод, что счастье и несчастье зависят от нашей внутренней силы, способной притягивать к себе хорошие или дурные события. В моем духовном запаснике как целительное средство от потенциальных бед хранятся несколько примеров удивительных судеб, благо Крым перенасыщен людьми нестандартных биографий. В Евпатории я знаю человека, который, будучи с детства прикован к постели параличом, сумел понравиться одной милой женщине, она вышла за него замуж и родила двоих детей. В моем городе живет молодая художница, безжалостно скрученная болезнью. Однако я видел на выставке ее солнечные акварели, написанные кистью, зажатой в пальцах правой ноги — единственно подвижной конечности.

Рассказал о художнице девушкам, и Настя тут же испробовала ее метод, поскольку сидела босиком — и все это всерьез, дабы убедиться в трудности подобного искусства. Затем она вернулась к своей акварели, а мы с Валентиной, прихватив полиэтиленовые пакеты, спустились в лощину за ежевикой и шиповником. А когда через час вернулись на поляну, застали Настю уже обутой, со сложенным этюдником. Она сидела на бревне и обрабатывала перочинным ножиком какой-то корешок.

— Показала бы свою работу, что ли, — сказал я.

Настя достала из этюдника лист ватмана и протянула мне. Рисунок удивил не менее, чем мудрствования девочки. Легкими прозрачными мазками ей удалось схватить форму гор и впечатление от их громоздкой невесомости в тумане. Но самым интересным было то, что пейзаж покоился на ладони старушки, чей голубой профиль с четко выписанными морщинами занимал пол-листа. Профиль был сильно индивидуализирован, и я не решился спросить, кто это — и так было ясно. Однако Настя сама выпалила:

— Это моя бабушка и одновременно природа, в которой она растворилась.

— Не слишком ли много ты думаешь о бабушке?

— Слишком? — так и вскинулась она. Губы ее задрожали, в глазах мелькнуло недоумение и досада от моего непонимания ее в чем-то. — Почему слишком? Просто я все время ощущаю ее рядом, будто с ней ничего не случилось. Разве это плохо?

— Занимайся, Настя, хатха-йогой и будешь всегда здорова телесно и душевно, — посоветовал я и получил в ответ почти презрительный взгляд.

Вечер я провел на балконной раскладушке, возвращаясь то к эпизоду близ Горелого леса, то к Настиным размышлениям на поляне. По сути, ничего удивительного в том, что девочка рассуждает на серьезные темы. Впечатлительная юная душа, столкнувшись с потерей близкого человека, рано осознала то, что обычно приходит с годами, когда обретаешь какой-то защитный панцирь, скроенный из молодой жажды жизни или — наоборот — глубокой усталости от нее. К тому же здесь не исключен невроз. То, что сейчас много невротиков не только среди взрослых, я знаю по собственному сыну, который с пятилетнего возраста пытает меня, будет ли война, и не сгорим ли мы в ее пламени. Ежедневно по радио, телевизору всю свою сознательную жизнь дети слышат о том, что то в одной точке земного шара, то в другой убивают, убивают, убивают...

Черт возьми, Настя в чем-то права — недостоин человек такой жалкой участи: жить, трепеща осиной, постепенно превращаясь в трухлявое дерево, чтобы однажды упасть и рассыпаться, даже просто так, без всякой атомной. Однако что в наших силах?

И еще я спросил себя в тот вечер, почему многим не по душе мои занятия йогой? Вероятно, есть нечто отталкивающее в чрезмерной заботе о собственном здоровье. Я и сам чувствую — моим усердным физическим самоистязаниям не хватает чего-то существенного, и порой нахожу их бесплодными, хотя положительный результат вроде бы налицо. Дело в том, что индусы-аскеты занимаются йогой, имея за душой более возвышенную цель, чем просто оздоровление организма, но я не могу поверить в реальность их идеи: закаляя тело, они якобы подготавливают его к контакту со Вселенной, с Абсолютом. Для меня Абсолют — плод воображения экзальтированного восточного народа. В лучшем случае, я готов отождествить его с вакуумом, который, по некоторым гипотезам, обладает чудодейственным свойством, ибо в нем-то и рождается весь богатейший спектр реальности. Так для каких подвигов я выкручиваюсь в пашимоттанасане и других сложных асанах? Для чего научился так расслабляться, что создается полная иллюзия парения в воздухе?

Стемнело. В палате зажегся свет, и сквозь балконное окно я увидел, как отворилась дверь, вошла лит-сотрудник райгазеты Зиночка и бойко затараторила, что в клуб привезли детектив, поэтому пусть Лёха немедленно приводит себя в порядок и спускается вниз.

По-барски возлежавший на кровати Лёха очумело уставился на девушку, тягостно соображая, с воспитательной целью это предложение или за ним кроется нечто большее. Зиночка поняла его сомнение и сердито трахнула по тумбочке пустой кефирной бутылкой:

— У вас, Алексей Игнатьевич, одно на уме. Пора бы остепениться.

— Никуда не пойду, — сказал Лёха, взъерошив волосы. — Я сам себе детектив. Лучше резанем в подкидного. И про Факира расскажу.

Зиночка зло поджимает полоску тонких губ, но велико желание познать темную сторону жизни, чтобы потом описать ее безобразия. Рыженькая, похожая на шуструю белочку, она с отважным видом молодого интервьюера присаживается к Лёхиной кровати и, жертвуя детективом киношным ради невыдуманного, составляет ему компанию в глубоко презираемых ею картах, жадно выслушивая его уголовные байки.

— Факир наш был человеком, какие редко встречаются и среди фрайеров, — забасил Лёха. — А даму пик не хоть? То-то. Так вот, в нашу командировку он при был за то, что принял на себя вину родного братана. Тот на свадьбе прибил по пьянке какого-то типяру. Казахи, они ведь многодетные — у Факирова брата девять душ детей было, сам же Факир только из армии вернулся и еще без невесты ходил, то есть терять ему нечего вроде, кроме свободы. Вот и отбахал срок за родственничка. А это тебе валет. Что, урезал?

— Пить насовсем бросили? — как бы между прочим интересуется Зиночка, ни на минуту не теряя бдительности газетчика.

— Насовсем. Не веришь?

— Лечились или как?

Лёха крякает и гудит:

— Какое там лечение. Случай со мной был. До сих пор не пойму, наяву или привиделось. К матери сразу после отсидки приехал ну и, разумеется, отметил это событие с мужиками у ларька. Перебрал маленько. Иду, в глазах все плывет, шатается, вдруг — как в сказке — прямо из-под земли вырастает передо мной беленький старичок. Куда, спрашивает, путь держишь? К мамке, отвечаю, потому как больше не к кому. Идем, говорит, проведу тебя, а то не в ту степь свернешь. Я и пошел. Идем мы, идем, по пути присаживаемся, отдыхаем, опять идем. Где сидели, о чем говорили, ничего не помню. Только очнулся посреди ночи — черно, дождь льет, а я сижу на краю какой-то ямы, свесив туда ноги, и вот-вот свалюсь. Присмотрелся, а вокруг кресты да памятники. Оказалось, занесло меня за село, на самый погост. И такой страх обуял, что хмель разом выдохся. Рванул я домой, прибежал, зубами клацаю, матери обо всем рассказываю. А она крестит меня и говорит: «Хозяюшко это водил тебя, знак подал, чем кончишь, ежели не бросишь хлестать ее, окаянную». С той поры, как отрезало. До сих пор не пойму, что это было.

— Белая горячка, — строго определяет Зиночка, не верящая ни в чох, ни в сглаз.

Пришел Осман и, не задерживаясь в палате, прошагал на балкон — Лёху он терпеть не может, а к посещениям Зиночки относился иронически. Перегнувшись через балконные перила, Осман скучно оглядывает асфальтированный санаторский пятачок, цокает шастающей по сосне белке и вдруг подпрыгивает, будто кто шпынул его:

— Вай, мои прикатили! Гуля, Мемет, я здесь! — кричит он, вмиг исчезая с балкона.

Я приподнялся с раскладушки. У корпуса остановились белые «Жигули», возле них две стройные темноволосые женщины в длинных цветастых платьях, молодой человек и девочка лет семи, тоже в длинном, до щиколоток, ярком платьице. Теперь Осману придется искать для них ночлег в поселке. Возможно, и сам заночует там.

С соседних балконов тоже повысовывались головы любопытствующих. Почти безвыездное пребывание в санатории у многих вызывает сенсорный голод: привлекает внимание любое новое лицо, любая завернувшая в этот уголок машина. Четырежды в день ездит в Ялту автобус, возит медперсонал, жителей поселка, отдыхающих, и всегда переполнен, поэтому лишь раз в неделю я выбираюсь на рынок за фруктами. Оторванность от городской суеты мне нравится, но бывают дни, когда я остро ощущаю нехватку привычного калейдоскопа лиц, лесная тишина уже не успокаивает, а начинает томить, и невольно вспоминается анекдот о человеке, которого привели в чувство, придвинув к выхлопной трубе автомобиля.

Я уже успел соскучиться по своим домочадцам, но не хотел бы их приезда. Разлука с Ириной для меня всегда целительна — жена становится мягче, веселее. То ли работа в школе так издергала ее, то ли мы надоели друг другу, в последнее время наши отношения обострились, и бывают дни, когда каждый сбежал бы от другого на край света. Дениска — крепкое связующее звено, не дающее рассыпаться семье. Но к концу отпуска мне уже не хватает даже Ирининой стервозности.

— Йог Иванович! — раздается внизу тонкий голосок Насти.

Я плюхаюсь на раскладушку и затаиваюсь — уже не хочется сегодня никуда. Настя еще раз окликает меня, затем слышится негромкий смешок Валентины, и мои приятельницы удаляются.

Другой на моем месте непременно закрутил бы с одной из них, а то и с обеими сразу. Но мне что-то мешает. Не порядочность, а скорее усталость и лень. На носу сорок лет, возраст кризисный, опасный, надо и поберечься.

— А то еще был у нас Утопист, — бубнит в палате Лёха. — Отбывал за то, что свою старую тачку в реку гробанул, чтобы за нее страховку получить. То есть инсценировал угон. А Утопистом его прозвали за всякие забавные истории. Мечтал о тюрьме будущего. Чтобы прозрачной была со всех сторон, стояла в центре города, и в стеклах ее чтобы по-особому отражались сердца заключенных: у убийц багровым пульсировали, у воров — синим, у праведников — зеленым. То есть чтобы люди видели, кто за что сидит. Чудак.

Лёха до того истомлен прошлым, что для него истинное наслаждение просто так лежать в чистой постели, просторной палате, и не тянет его ни в кино, ни на танцы, был бы рядом такой вот, как Зиночка, благодарный слушатель.

Как я и предполагал, Осман повел своих в поселок и остался там на ночь, а я воспользовался его очередью спать на балконе. Это одно из лучших санаторских удовольствий. Здесь, в горах, звезды крупные, чистые, и воздух так пьянит, что многие, едва добравшись до подушки, тут же засыпают. Вот и сейчас кто-то рядом уже мощно похрапывает. Но я не спешу нырнуть в сон, долго рассматриваю звездное небо, которого в городе почти не вижу.

Внизу, под моим балконом, раздается глуховатый голос Прасковьи Гавриловны. Эта немолодая женщина с красными шершавыми руками доярки и хозяйки деревенского двора в прошлом году сидела за моим столом, и я каждый день узнавал что-нибудь из неурядиц ее семейной жизни с дочерью и зятем, который, как она выражалась, «вечно ходит поддатый».

— Коль атомной не будет, долетим до звезд, — говорит Прасковья Гавриловна, кряхтя и ворочаясь на раскладушке. — А вот интересно, отчего одни звездочки мигают, а другие как приклеенные?

Ей отвечает басок дедка с соседнего балкона:

— Потому как одни ближе к нам, а другие дальше. А вот та, самая яркая, уйдет к утру совсем в другой конец неба.

— Не может быть, чтобы еще где-нибудь не вертелась такая земля, как наша, — не унималась Прасковья Гавриловна. — Что, ежели на какой планете тыщу лет живут, а?

— Чего захотела, — удивился дедок. — Зачем тебе тыща?

— Дак ведь интересно, — с бодрым хохотком ответила Прасковья Гавриловна. — Думаешь, раз старая, так и жить надоело?

Странно и удивительно стало мне оттого, что день заканчивался на одной ноте с началом, что вот лежит под ночным небом великая труженица Прасковья Гавриловна, смотрит на звезды, и в душе ее пробуждается нечто далекое от привычных забот. Выходит, дай человеку побольше свободного времени, и мысли его непременно начнут цепляться за мирозданье?...

Как-то утром Настя пришла в столовую без Валентины, сообщив, что та уехала первым автобусом на два дня домой. Подобные отлучки не приветствовались врачами, но по выходным санаторий все равно становился безлюдным.

— Как собираешься провести день? — поинтересовался я.

Настя быстро взглянула на меня исподлобья и осторожно, нерешительно сказала:

— Не знаю. Вообще-то хочу сходить к Горелому лесу.

Мне показалось, она что-то утаивает.

— А правда, будто за Бахчисараем, на Ай-Петринской яйле, водятся мустанги? — спросила, как бы отвлекая меня.

Я опешил. Двадцать лет назад этот же вопрос задала Саша Осокина, и он стоил ей жизни.

— Правда, — ответил я и, вероятно, нехорошо посмотрел на нее, потому что она вдруг смешно покраснела кончиками ушей и носа. — Это потомство бесхозных, одичавших в войну лошадей. Но мало кто видел их, и лучше за ними не гнаться.

— Почему?

— Хотя бы потому, что любая погоня рискованна и к добру не приводит. Может, все-таки прихватишь меня в лес?

Решил в любом случае не оставлять девчонку без присмотра — летом в этих местах много всякой заезжей шпаны, могут обидеть или напугать.

Немного подумав, она согласно кивнула, но без особой охоты.

В этот раз Настя этюдник не взяла, шла быстро, я еле поспевал за нею. Наконец не выдержал, крикнул вдогонку:

— Куда несешься?

Она приостановилась, обернулась.

— Что за молодежь, — пробурчал я деланно по-стариковски, украдкой любуясь ее ладной фигуркой и светящимся в улыбке лицом. От быстрого шага ее короткая стрижка взлохматилась ежиком, щеки порозовели. — Вчера не обиделась на меня?

— Вот еще. Только зря вы так. Я ведь уже взрослая, мне можно о чем угодно думать и рассуждать.

— Да, конечно, — усмехнулся я, вспомнив, как в десятом классе с апломбом заявил маме, что уже все знаю о жизни, поэтому нечего обращаться со мною, как с ребенком. «Так уж и все?» — улыбнулась мама моему чудовищному невежеству. Нынешняя молодежь и впрямь образованнее нашего поколения, родившегося в войну, иначе и быть не может. Однако есть темы, на которых не принято заострять внимание, и я сказал об этом Насте.

— Для меня таких тем не существует. Я даже особую тетрадь завела и дала ей название — «Дневник имморталистки».

— Имморталист — это, кажется, тот, кто верит в бессмертие? — Я замедлил шаг. — Странно.

— По-вашему, я не имею права верить в бессмертие?

— Почему же. Каждому дозволено верить во что угодно.

— Нет, я вижу — вам удивительно, что у нас, где нет ни экзистенциалистов, ни фрейдистов, где все единомышленники-материалисты, вдруг появилась какая-то имморталистка Настя Волгина.

— Да, несколько удивительно.

— Но в понятии имморталист — ни мистического, ни ругательного оттенка.

— Не считай меня совсем уж идиотом. Вполне допускаю, что имморталист может иметь и материалистическое мировоззрение. Но зачем все это тебе, шестнадцатилетней?

— Зачем? — Настя вновь обернулась ко мне, и я увидел в ее взгляде не то что взрослость, но мудрость зрелого человека. — Вам разве неизвестно, что сегодня о жизни и смерти думают несколько иначе и чаще, чем лет двадцать пять назад?

— Если ты о ядер ной угрозе, то успокойся — я уже полжизни прожил с ощущением, что завтрашнего дня может и не быть.

— Выходит, привыкли. Плохо это — привыкать нельзя. Знаю, как рассуждаете о нас, шестнадцатилетних: мол, только тем и занимаются, что за шмотками бегают, балдеют и ловят кайф от разных там ВИА. А нам, возможно, известно то, чего вы не осознаете в силу возрастной инерции или житейской замотанности. Где еще появиться имморталисту, как не на земле, родившей великих имморталистов — Достоевского, Федорова, Горького, Циолковского? Лучшие люди планеты верили в возможность бессмертия не только рода человеческого, но и личности. Могу продолжить их ряд: Сократ, Джон Донн, Флеминг, Заболоцкий, Пришвин. Только, пожалуйста, не спрашивайте: «Не надоест ли жить вечно? Не остановится ли при этом эволюция?» Уверяю вас, не надоест и ничего не остановится.

— Может, ты веришь и в воскрешение?

— Почему бы и нет? Не в христианское, а в научное. Думаете, что двигало учеными, когда пытались воскресить найденного в вечной мерзлоте мамонтенка Диму? Простое любопытство? Вовсе нет. Давняя мечта человечества, которую давно уже пора освободить из плена разного рода догматиков. Пятьдесят миллионов погибло только в последней войне. Среди них молодые, совсем юные, мои ровесники. А сколько во всем мире ежегодно гибнет от автокатастроф, наводнений, засух, голода, землетрясений. Или просто умирает от болезней, старости. Может ли какое-либо общество, даже самое справедливое, ощущать себя гармоничным и счастливым, зная, что в фундаменте его счастья столько жертв?

— По-моему, нужно избавиться от войн и других бедствий, а потом уже взлетать так высоко на крыльях довольно призрачной мечты.

— Верно. Но почему бы не помечтать и сейчас? Почти все реальное рождено мечтами именно призрачными по мерке сегодняшнего дня. Должны ведь существовать мечты и дальнего действия.

— Ну и фантазерка!

Девочка резко остановилась, глаза ее засветились такой нестерпимой синевой, что я на миг зажмурился.

— Говорите, фантазерка? — прерывисто сказала она, и я почувствовал, что заражаюсь ее волнением. — Фантазерка? — почти шепотом повторила Настя. — Хорошо... Сейчас кое-что, возможно, увидите. — Она порывисто зашагала по склону, ведущему к Горелому лесу.

Молча прошли мы сквозь мрачный хаос черных, обугленных стволов и очутились возле дуба, мимо которого текли знакомые роднички. Меня начинало разбирать любопытство: что она там еще придумала, кроме Леты и Мнемозины?

— В тот раз, когда мы были здесь втроем, не увидели главного. — Настя зачем-то потопталась вокруг дуба, затем присела на валуи. — Вот когда я сама пришла сюда...

— Неужели встретила оленя или кабана? А может, видела мустангов? Между прочим, здесь когда-то хотели развести медведей, забросили несколько пар, а потом отказались от этой затеи — слишком многолюдные места.

Я осмотрелся. О чем говорила девочка? Может, вон о тех мергелевых розовых скалах с черными иероглифами лишайников? Я и впрямь не заметил их в прошлый раз.

— Ой, смотрите, лягушка-путешественница!

По ручью плыл большой лист, похожий на лопуховый, посреди которого умостилась ярко-изумрудная лягушка с золотыми глазами. Она так важно сидела на листе, так загадочно посверкивала золотинками глаз, будто и впрямь плыла из сказки.

Вдруг Настя насторожилась. Раздался топот конских копыт.

— Это они, — дрогнувшим голосом сказала она, и едва я успел сойти с тропы, как со стороны Горелого леса выехали три всадника на разномастных конях — белом, вороном и кауром. Молодые парни лет по семнадцати-двадцати, в форменках и зеленых фуражках лесничих, за спиной одного из них двустволка. Легким галопом проскакали на конях по тропе, ведущей к дальней лесничей сторожке, и скрылись за скалами.

— Вот тебе и мустанги, — пошутил я.

— В тот раз было точно так же! — Настя тревожно оглянулась по сторонам, будто готовясь к чему-то. — Пожалуйста, станьте вон туда, а то мне так не очень удобно смотреть.

Не понимая, в чем дело, я отступил шага на два от валуна, оказавшись слева от девочки. Напряженно вытянув шею, Настя пристально уставилась в какую-то точку. Я проследил за ее взглядом, и у меня стала деревенеть спина. То, что я увидел, походило на кадр из мультика: неподалеку от дуба, на том месте, куда было направлено внимание Насти, прямо на моих глазах вырисовывался уже знакомый профиль старой женщины в платочке — будто кто-то невидимый чертил в воздухе волшебным карандашом. Профиль вырастал в силуэт, проступал все четче, обрастая деталями, пока наконец не появилась щупленькая старушка в темно-си-нем платье в белый горошек и домашних тапочках, совсем реальная, словно только что вышедшая из дому. Перебирая жилистыми руками концы платочка, она с грустной улыбкой смотрела на Настю.

Завороженный зрелищем, я не сразу обернулся к девочке, а когда все же взглянул на нее, показалось, что от ее глаз протянулись к старушке два тонких, чуть заметных голубых луча. В их-то фокусе и вырисовывалось изображение. Стоило мне слегка сдвинуть голову, как лучи к старушке исчезли, но едва я принимал прежнее положение, все возникало вновь. Это было столь необычно, что я оцепенел, не в силах что-то сказать или тронуться с места. В растерянности переводил я взгляд с внучки на бабушку, вновь на внучку. Лицо Насти было бледным, напряженным, будто от тяжелой физической работы, на лбу проступили капельки, а на лице играли разнообразнейшие оттенки чувств: от восторженного страха до умиротворенного благоговения. Крепко стиснув руки на обтянутых джинсами коленях, без кровинки в лице, она с таким самозабвением отдавалась своему невероятному творчеству, что мне стало на миг неловко — будто я оказался свидетелем чего-то чрезвычайно интимного. Губы девочки медленно шевелились, она что-то говорила, а бабушка кивала, отвечая, но я не слышал ни слова, уши точно заложило ватой.

Не знаю, сколько длилось это видение, время остановилось, а может, приняло совсем иной ход, но вот под ногой у меня нечаянно хрустнула ветка, хотя я вроде бы стоял не шевелясь, околдованно. Настя вздрогнула, обернулась, и фигура в траве исчезла.

— Видели? — Она слабо шевельнула губами, еще не совсем придя в себя.

Я молча кивнул, подошел к ней и осторожно опустил руку на плечо.

— Если настроитесь, и у вас получится, — глухо сказала она. — Здесь необычное место. Главное, помнить...

По молчаливому уговору мы с Настей ни на другой день, ни в последующие и словом не обмолвились о случае за Горелым лесом. Только посматривали друг на друга глазами заговорщиков. Я был уверен, что она не проболтается даже Валентине. Уж слишком незаурядным было происшествие, чтобы обсуждать его с кем-либо — все равно никто бы не поверил, а приобрести авторитет человека со сдвигом ни ей, ни мне не хотелось.

Все же я посоветовал Насте не ходить на то место, поскольку подобные явления, на мой взгляд, не проходят бесследно для психики. Она согласно кивнула, но ничего не обещала, поэтому я старался держать ее в поле зрения.

Случившееся не отпускало меня, занозой сидело в голове. Что это было? Призрак, при зраке... Зраком, оком рожденное? Физические познания о мире у меня не выходят за пределы регулярно просматриваемых научно-популярных журналов, но ничего подобного увиденному не встречалось. Что, если я был свидетелем изображения мозгового проектора, прорвавшего барьер сетчатки глаза, которая не что иное, как продолжение мозга? Не этот ли неизученный феномен лежит в основе распространенных по всему свету суеверий, легенд о привидениях? Почему бы не допустить, что в определенных условиях мозг человека обретает способность воссоздавать зримые образы «тех, кого уже нет», рождать их из себя, как Зевс родил из своей головы Афину? Но тогда мы и впрямь, как сказал поэт, «неразвившиеся боги». Именно неразвившиеся, потому что вскоре я совершил гнусное дело: мне в руки попал Настин дневник, и я не удержался, прочел его.

Случилось это незадолго до моего отъезда. Пока Валентина принимала лечебные процедуры, мы с Настей решили до обеда пройтись на поляну — стояли солнечные дни, и ей хотелось порисовать. У волейбольной площадки ее окликнул цыганчатый парень с кудрявым чубом. Виновато обернувшись, она сунула мне в руки этюдник и со словами: «Я немного поиграю, хорошо?»— ринулась на площадку, по которой бегали несколько ребят и две девушки.

Стало ясно, что это надолго, и я рассерженно удалился с этюдником в руках, не теряя, однако, надежды, что Настя догонит меня. Навалилась необъяснимая хандра. Мрачно шагал я по тропе, прислушиваясь, не раздадутся ли сзади быстрые девчоночьи шаги. Но было тихо, лишь со стороны поселка доносился стук топора. Выйдя на поляну, я сел в траву и какое-то время сидел неподвижно, бездумно, слившись с синевой неба, облаками, сизой громадой гор. Один мой приятель убежден, что крымская земля обладает особым свойством каждой своей пядью излучать информацию о прошедших здесь когда-то событиях, как бы сфотографированных ею, оттого порой и испытываешь необычное состояние, когда кажется, что жил тут сотни, тысячи, миллионы лет...

Стряхнув оцепенение, я машинально открыл этюдник и увидел несколько акварелей, довольно приличных, хотя и не совсем искусных: праздничный куст шиповника с пылающими ягодами, одинокая пушистая сосенка на краю обрыва, уже знакомый профиль с ладонью, на которой уместился целый горный кряж. Под рисунками лежала небольшая толстая тетрадка. Она была открыта, и я понял, что это тот самый дневник, о котором упоминала Настя. Я машинально перелистал страницы. Как в любом дневнике школьниц, записи ежедневных событий перемежались стихами, афоризмами известных людей, выдержками из художественных произведений. Взгляд зацепился за строки:

Нет! Отнюдь не забвенье,

А прозрение в даль.

И другое волненье,

И другая печаль.

И другое сверканье,

И сиянье без дна...

Скользнув по листу, нашел имя поэта — Давид Самойлов. Стал читать, глотая страницу за страницей, не обращая внимания на датировку дней, упуская кое-какие цитаты, подчеркнутые красным шариком.